

ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ



Дьявол прячется в мелочах

НЮАНСЕРЫ



Генри Лайон Олди

НЮАНСЕРЫ

Константин Алексеев, известный промышленник и актёр-любитель, приезжает в губернский город X. Здесь умерла старая гадалка Заикина, которая ни с того ни с сего завещала Алексееву свою квартиру. В день приезда также происходит загадочное ограбление банка: убит кассир, убийца скрылся. На квартире Алексеева уже ждут, и с этой минуты ни одна мелочь, ни один нюанс не окажется случайностью, пустым совпадением.

Ах да, еще один пустяк: на дворе подходит к концу XIX век.

Новый роман Г. Л. Олди историчен и фантастичен одновременно, насквозь пронизан реалиями времени и вечными проблемами. Маски прирастают к лицам, люди, события, вещи — всё выстраивается в единую мизансцену, и если хорошенько аплодировать после того, как дали занавес — актёры, может быть, выйдут на поклон.

Содержание

Действующие лица (живые и усопшие)

ПРОЛОГ

Глава первая «КАК ПРЯМУ ЕХАТИ — ЖИВУ НЕ БЫВАТИ»

[2]

1 «Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!»

2 «Вы только не стреляйте!»

3 «Присягу, должно быть, принимают».

4 «Левольвертом грозился!»

Глава вторая «МОЁ ИМЯ ДОЛЖНО БЫТЬ В ИСТОРИИ»

1 «Бойтесь данайцев, дары приносящих!»

2 «Да, грабят! Прямо сейчас!»

3 «Брекекекс!»

Глава третья «ТОЛЬКО НА ВАС ВСЯ НАДЕЖДА!»

1 «Пр-р-рекр-р-ратить!..».

2 «Вы же хорошо спали?»

3 «Это беспочвенные мечты».

4 «Мартышка ты, ну прямо обезьяна!»

Глава четвертая «ВАС ЧТО-ТО СМУЩАЕТ?»

1 «Но Заикина-то какова!»

2 «Не кот, тигра лютая!»

3 «Есть способ войти без очереди?»

Глава пятая «ПОЕДЕМ, КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ!»

1 «Не отдаст — твой он, Лютый»

2 «Не извольте беспокоиться!»

3 «Саквояж с пола на стул!»

4 «Хлопцы, робы грязь!»

Глава шестая «ПОСЛЕ ЧЬЕЙ СМЕРТИ?»

1 «Вам не кажется, что это слишком?»

2 «Жить надоело?!»

3 «К чему она готовилась?»

4 «Тро-ога-а-ай!»

Глава седьмая «КОГО ХОРОНИМ, КОМУ СЛАВУ ПОЁМ?!»

1 «Пойдём отсюда скорее!»

2 «Но кобыла тут при чём?»

3 «При чём здесь фонарь?»

4 «Я Миша Клёст, бью до слёз!»

Глава восьмая «АРТИСТ ИЛИ МЕБЕЛЬ?!»

1 «Кто вас научил?»

2 «Рассвета не будет»

3 «Задумчив, над рекой сидит рыбак...»

4 «Сумасшедшая Евлалия»

Глава девятая «РЕЖЬ МЕНЯ, ЖГИ МЕНЯ!»

1 «Помоги беса одолеть...»

2 «Шестой стакан мне не повредит?»

3 «Вы видели это наследство?»

4 «Помнишь меня?»

5 «Что же она делает в театре?»

Глава десятая «АФРИКАНКА-РАЗЛУЧНИЦА»

1 «Пошла, родимая!»

2 «Спи, Солнца сын...»

3 «А если я откажусь?»

Глава одиннадцатая «ДА, КЛЁСТ, ИСТИННАЯ ПРАВДА!»

1 «И это въ лучшей части города!..».

2 «Не верю!»

3 «Вы позволите вас проводить?»

4 «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Глава двенадцатая «ЧТО ЖЕ ВЫ ИСПУГАЛИСЬ?»

1 «Будь, Алексеев, здрав, кумир в грядущем!»

2 «Не губите, Константин Сергеевич!»

3 «Но где учиться искусству?»

Глава тринадцатая «ДО СТА ДВАДЦАТИ?»

1 «Холодно-горячо»

2 «Продай, ангел!»

3 «Только плюсы?»

4 «Там ждёт удача!»

5 «Лёва никому не скажет»

Глава четырнадцатая «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

1 «Тихо, шелупонь!»

2 «Холодно здесь...»

3 «Гуляем, хлопцы!»

4 «А если не будете прощать людям...»

5 «Злоба его обратится на его голову...»

6 «Я в жизни столько не смеялся!»

ЭПИЛОГ

Явление первое ТРИ КОНЯ

Явление второе СВЕЧА

Явление третье ДОМ

Явление четвертое ВЫХОД НА ПОКЛОН

Подробности — главное, подробности — Бог.

И. В. Гёте

Дьявол прячется в мелочах.

Поговорка

Всѣ персонажи являются вымышленными. Любое совпаденіе съ реально живущими или жившими людьми случайно. То же касается упомянутыхъ періодовъ времени, топонимовъ и предметовъ домашняго обихода. Книга написана на собственныя фантазіи авторов. Не содержитъ богохульствій. Одобрена цензурой.

Действующие лица

(живые и усопшие)

Заикина Елизавета Петровна, гадалка, в прошлом актриса.

Лаврик Иосиф Кондратьевич, её правнук, служащий банка.

Лелюк Неонила Прокофьевна, вдова, приживалка.

Лелюк Анна Ивановна, её дочь.

Алексеев Константин Сергеевич, фабрикант, актёр-любитель.

Алексеев Георгий Сергеевич, его младший брат.

Суходольский Михаил Хрисанфович, он же Миша Клёст, грабитель и убийца.

Ваграмян Ашот Каренович, сапожник.

Кантор Лейба Берлович, без определенного рода занятий.

Радченко Любовь Павловна, костюмерша в театре.

Воры и бандиты: Костя Филин, Ёкарь, Гамаюн, Лютый.

Янсон Александр Рафаилович, нотариус.

Граф Капнист, предводитель губернского дворянства.

Никифоровна, старуха.

Никифор, могильщик.

Вознесенская Ольга, вдова.

Никита, её сын.

Черкасский Семён, извозчик.

Попутчики, городовые, мещане, водяные, карлы, носильщики, дворники, общительные мертвецы, ямщики, преступный элемент, портье, кассиры, фавны, официанты, пьяницы, феи, купеческие дочери,

призраки, театральные деятели, фельдшеры, обитатели
воспоминаний и др.

ПРОЛОГ

— Да ты что, матушка! Не умирай!

— Благодетельница!

— Живи сто лет!

— Цыц, кликуши! — рассердилась Заикина. — Не сегодня помру, небось. Чего раскудахтались? А как придёт срок, так кричи, не кричи, ничего не изменится. Живи сто ле-е-ет!

Она так ловко передразнила приживалок, что те рты пораскрывали. С недавних пор Заикина актёрствовала мало — и в театре, куда её, случалось, звали на роли комических старух, и дома, в охотку, под бодрое настроение, которое приходило к Елизавете Петровне всё реже и реже. Приживалки уже и не помнили, когда такое случалось в последний раз.

— И сколько мне по-вашему, куриному, до ста осталось? Три завтрака да пять обедов?!

— Матушка!

— Что ж ты себя заживо хоронишь?

— Хоронить не хороню, — рассудительно произнесла Заикина, беря третий кусочек колотого сахара и обмакивая его в крепчайший, кирпичного цвета чай. «Родилась сладкоежкой, — говаривала она любопытствующим, — сладкоежкой и к богу на поклон отправлюсь». — А подготовиться к этому делу каждому на пользу. Одни деньги копят, чтобы родственников в расходы не вводить. Другие грехи замаливают, обеляют душу перед кончиной. Храмам жертвуют, нищих привечают. Вот и я готовлюсь, как умею. Оську только жалко, пропадёт без меня. Оську жалко, Осеньку...

Приживалки как по команде вытянули шеи. Заикина расположилась за столом вольготно, по-хозяйски, приживалки сели напротив, плечом к плечу, вжавшись

друг в друга, на краешках стульев. Стол без труда принял бы еще человек десять, вздумай те почаёвничать на сон грядущий, но казалось, что приживалок из милосердия пустили в большую шумную компанию, выделив на двоих места с полмизинчика.

— Осеньку? — изумилась старшая.

Шмыгнула носом, выпучила глаза:

— Да чего же его жалеть, Иосифа Кондратьевича? Мужчина молодой, видный, в банке кассиром служит. Чай, ни в какой каше не пропадёт, ни в пшённой, ни в гречневой. Не с чего ему пропадать. Вот женится, возьмёт за себя девку красивую, с приданым. Детишек настрогает, пойдут у вас праправнуки...

— Не доживу, — отрезала Заикина.

Высокая, статная, сильно располневшая после шестидесяти, она носила свой вес, как и годы, легко, с горделивой осанкой царицы. После шестидесяти? Боже, как давно это было! Уже и не вспомнить...

— Матушка! Живи!

— Пей чай и помалкивай! — укоротила Заикина старшую приживалку. Младшая и без того молчала, прикусив нижнюю губу. — Не твоего ума дело! Если говорю, что Осеньку жалко, значит, цыц! Молчи и жалеи, поняла?

Приживалки мелко закивали.

— Чай, — угодливо согласилась старшая. — Пьем и помалкиваем, матушка.

— Осеньку ей жалко! — Заикина всё не могла успокоиться. — Мне, что ли, не жалко?

Она уже и забыла, что жалко правнука было ей, а вовсе не приживалке. Приживалка, напротив, утверждала, что Иосифа Кондратьевича жалеть не с чего, но кого это сейчас интересовало?

— Осеньку жалко, себя жалко, а сервиза жальче всех. Чашки, блюдца, сахарница... Побьёте, небось, без меня! Вот говори: побьёте, а? Правду говори!

— Не побьём, матушка!

— Ан побьёте!

— Пуще глаза беречь станем!

— Пуще глаза, — прошептала младшая, бледная как мел. Шёпот был для неё, молчуньи, подвигом. — Христом-богом клянусь, пуще.

— Не клянись! — без злобы, для порядку велела Заикина. — Ибо сказал Господь: «Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий...»

Голос её окреп, утратил старческую хрипотцу:

— «...ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя...»

Приживалки захлопали в ладоши. Знали, мерзавки, что хозяйке по душе.

— «...ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным!»

— Bravo, матушка!

— Bravo!

— Актёрка, как есть актёрка! Наипервейшая!

— Актриса, — поправила Заикина, отдуваясь. — А сервиз всё едино побьёте, заразы..

Чайный сервиз на девять персон был гордостью Заикиной. Приживалкам не возбранялось пить из тонких, воздушных, украшенных бледно-сиреневой росписью чашечек, им даже разрешалось брать колотый сахар из пузатой сахарницы, но делать это следовало без торопливости, с почтением, бросая восхищенные взгляды на благодетельницу. Сервиз Заикиной подарил никто иной, как заводчик Кузнецов. «Матвей Сидорович самолично!» — говаривала Заикина, когда была в духе, и картинно всплескивала руками. Тридцать лет назад Кузнецов арендовал фаянсовую фабрику купца Никитина в селе Байрак, арендовал да и плюнул всердцах: расходы на гужевой транспорт съедали доходы, что твой пёс — колбасные обрезки. Шло время, лихое убыточное время, и кто-то надомил

Кузнецова обратиться к Заикиной. Старуха раскинула карты — так, как умела во всей губернии только она — и велела заводчику перебираться с хозяйством и работниками в иное село. «Какое», — спросил Кузнецов. «Буды, — ответила Заикина. — Буды, что на реке Мерефе. Видишь трэфового короля? Ну вот, а рядом с ним семёрка бубён. Буды, и хватит об этом». Сказать по правде, Кузнецов нисколечко не понимал, зачем ему менять шило на мыло, но совета послушался. Выкупил Котляровскую винокурню, перенёс производство в Буды. А спустя два года через Буды легла железнодорожная ветка, и с того момента Кузнецов на Заикину мало что не молился. И заплатил с лихвой, и бесплатным фаянсом снабжал исправно. Когда в позапрошлом году фабрика освоила фарфор — прислал сервиз с поклоном.

— Значит, так, любезные мои...

Заикина любовалась чашечкой истово, не отводя взгляда. Словно знала, что больше не увидит ни чашечку, ни сервиз, ни света белого. Лицо гадалки сделалось серьёзным: дальше некуда. С таким лицом Клеопатру играть — вот корзинка, в корзинке аспид, и срок пришёл класть змею на молодую грудь.

— Слушайте мою последнюю волю. Слушайте, запоминайте, исполняйте. Не исполните — из могилы вернусь. Зубами загрызу, кровь выпью. Вы меня знаете...

Приживалки знали. Слушали, запоминали.

— Ой, матушка, — захлебнулась старшая. — А с нами-то что будет?

— Исполните — всё будет хорошо. Не обижу вас, пустомель.

— Ну да, ну да, — бормотала старшая. — Всё хорошо, лучше лучшего.

Было слышно: не верит. Боится. А больше того боится возразить, пойти поперек. С таких женщин

художники пишут евреек накануне исхода из Египта. Оно, конечно, впереди земля обетованная, течёт молоком и мёдом. Да только сперва впереди Чермное^[1] море, пустыня и сорок лет хождения от бархана к бархану. Мёд еще когда, молоко после дождичка в четверг, а ноги по песку бить прямо сейчас надо.

Дойдём ли до обетованной? Доживём?

Глава первая

**«КАК ПРЯМУ ЕХАТИ — ЖИВУ
НЕ БЫВАТИ»^[2]**

1

«Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!»

Губернский город Х встретил Алексеева метелью.

Нет, так нельзя.

Начнем иначе, из затакта.

Занавес уже открылся, но сцена тонет в сумраке и тишине. Никто никуда не приехал, никто никого не встретил. Лишь гроыхают колёса на стыках, потому что театральная тишина выражается не молчанием, а звуками. Если не наполнить тишину звуками, нельзя достичь иллюзии. Стучат колеса, белый луч шарит в пустоте, отыскивая жертву. Время топчется на месте, покашливая в кулак, а пространство наполняется не страхом, но тревогой и ожиданием.

Вот. Так правильно.

х х х

В попутчики Алексееву достался инженер-путеец: вот ведь каламбур! Был он человек пьющий и крайне словоохотливый, что сделало поездку нескучной, но чуточку обременительной. Для себя Алексей назвал бесконечный монолог путеца на манер литератора Тургенева, подмешав толику баснописца Крылова: «Отцы и дети, или Овцы и щуки». Овцами, как теперь он знал доподлинно, хоть экзамен сдавай, в профессиональном кругу назывались паровозы серии «О». Щуки же, они же паровозы серии «Щ», ещё только разрабатывались учёными мужами, но имели богатейшую — «ей-ей, богатейшую! Ну, ваше здоровье!» — перспективу.

— А вы-то, — между делом вспомнил путеец о вежливости. — Вы-то сами, позвольте полюбопытствовать, кто будете?

— Канительщик, — улыбнулся Алексеев.

— Кто-кто?

— Канительщик. Золотое и серебряное шитьё.

— Хорошее дело. Прибыльное?

— Как когда.

— Хорошее дело, — повторил путеец, дыша коньячным перегаром. — Мундиры там, или ризы епископские... На чем государство держится? Армия и вера, точно вам говорю. Ну, ещё железные дороги.

И вернул разговор к возлюбленным паровозам.

За окном косым занавесом валил снег. Мелькали станции и полустанки, черные остовы деревьев, горбатые косогоры. На перронах бабы, замотанные платками поверх вытертых шубеек, торговали нехитрой снедью: пироги с картошкой и луком, жареные куры, соленые огурцы. Носили и самогон. День валился под гору, к вечеру. Белая пороса превращала баб в снеговиков с красными огрызками морковок вместо носа. Смотреть на них было зябко: в поезде топили, но воображение доводило пассажиров, глядевших в окна, до натурального озноба. Алексеев поздравил себя с тем, что чудом или попущением Господним взял билет в «синяк» — вагон первого класса. Окрашенные в синий цвет согласно распоряжению министерства, эти вагоны несмотря на их дороговизну заполнялись первыми, билетов всем желающим не хватало. Случалось, графам и тайным советникам доводилось ездить во второклассных «желтках», а то и в «зеленцах» третьего класса — что было, как писал некий господин, пострадавший от билетной лихорадки, «неудобно, но душевно приятно и поучительно».

«Неудобно, — подумал Алексеев. — И душевно неприятно».

Всё складывалось чѐрт знает как с самого начала. Безумная новость, которая сорвала его с места, украла от дел и событий; вынужденная поездка, подарок, обернувшийся подвохом; март, до ужаса похожий на февраль. «Лютый», говорят в здешних краях. Вот уж точно что лютый! Обстоятельства сложились в громоздкий кукиш с жѐлтым обгрызенным ногтем, и кукиш этот мерещился Алексееву за каждым углом. Скверная пьеса, а ты, братец, — комический простак, волей драматурга затесавшийся в головоломную авантюру. Чужое, не свойственное тебе амплуа, но занавес открылся, дали свет, и хочешь, не хочешь, а играй до самого финала.

Последний раз такое же смущение он испытывал в юности, играя французский водевиль в трех актах. Актѐр-любитель, Алексеев скрывал от семьи свой *adultère*^[3] с театром и едва не упал в обморок при всей почтенной публике, когда завитой, расфранченный, он вылетел на сцену с огромным букетом наперевес — и увидел в центральной ложе отца, мать и старую гувернантку, нянчившую его с колыбели. После спектакля гувернантка рыдала на груди у матушки: «Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично... Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!» Отец же, сдержав гнев, огласил приговор: «Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар. Но только не играй всякую гадость бог знает с кем!»

— Простите, ради бога, — прервал его воспоминания путеец. — Понимаю, что чрезмерно любопытен, но всё-таки... Сколько вам лет, милостивый государь?

— Тридцать четыре. А что?

— Да ничего, просто спросил. Смотрю на вас всю дорогу и, представляете, не могу в толк взять: каких вы

лет, а? Так гляну — вроде молодой человек. Эдак гляну: нет, старше. Улыбнетесь, так и вовсе юноша. Задумаетесь, и опять состарились. Освещение шалит, что ли?

— Я рано начал сесть, — объяснил Алексеев. — В сочетании с темными бровями и усами это даёт своеобразный эффект.

— Выпить не хотите?

— Нет, спасибо.

— Рюмашечку, а? Для здоровья?

— У меня слабое сердце.

— Врачи рекомендуют! Есть у меня знакомый хирург, так он без графинчика не оперирует...

— Мне не рекомендуют, спасибо. И потом, я не хирург.

— А кто же вы?

— Канительщик.

— Ну да, вы говорили. Запомню, извиняюсь.

«Зря это я, — подумал Алексеев. — Надо было согласиться. Алкоголь успокаивает нервы».

— Я закурю, если вы не возражаете?

— Разумеется, голубчик! Курите, сколько душе угодно!

Распечатав пачку «Ферезли», Алексеев закурил и начал перекидывать тонкие и длинные папиросы из пачки в серебряный портсигар. Без этого можно было и обойтись, но вид человека, занятого делом, слегка угомонил общительного путейца. В пачке обнаружился листок с предсказанием — этим сейчас баловались многие производители табачных изделий. «Время — ваш союзник, — прочёл Алексеев, морщась от дыма. — Лучше отложить принятие важного решения хотя бы на день».

«Да, — кисло усмехнулся Алексеев. — В яблочко».

Он откладывал важное решение со дня на день. Если бы не поездка, свалившаяся как снег на голову, он бы

уже принял это решение, похожее на выбор самоубийцы между пистолетом, ядом и веревкой. Последняя папироса смертника? Табачный дым, хоть всю пачку разом выкури, не успокаивал, а лишь добавлял горечи в сложившуюся ситуацию.

«Конь вздрогнул, и сильней витязь возмутился, — пелось в известном романсе. — В милый край, в страшный край как стрела пустился...»

С недавних пор Алексеев ощущал себя былинным витязем на распутье трёх дорог. Да-да, тем самым, знаменитым, кисти живописца Васнецова. Отдав финальный вариант картины в коллекцию Саввы Мамонтова, промышленника и мецената, близкого друга семьи Алексеевых, Васнецов отметил в письме к критику Стасову:

«На камне написано: “Как пряму ехати — живу не бывать — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному”. Следующие далее надписи: “Направу ехати — женату быти; налеву ехати — богату быти” — на камне не видны, я их спрятал под мох и стер частью».

Алексеев со всей искренностью завидовал простоте живописного подхода к главному вопросу своей жизни, можно сказать, вопросу жизни и смерти. Две надписи из трех стёр, и как не бывало! А тут вертись в седле, чеши затылок: «Направу ехати — женату быти. Налеву ехати — богату быти. Как пряму ехати — нет пути ни прохожему, ни проезжему...»

В случае с Алексеевым прямая дорожка, которая «убиту быти», означала издевательское «знамениту быти». Фабрики, семья и театр — три коня рвали его на части. Камень, лежащий на треклятом раздорожье, следовало украсить еще одной надписью: «На месте стояти — в дураках быти». Остаться на месте для

Алексеева значило продолжать тянуть три лямки сразу — мучаясь, срывая сроки, крутясь белкой в колесе, страдая бессонницей, доводя себя до сердечных приступов и в итоге оставаясь виноватым перед всеми сразу.

Савва Мамонтов говорил Алексееву, что в начальных эскизах картины витязь был повёрнут к зрителю лицом, а главное, перед ним лежали дороги. В последней версии живописец развернул витязя боком, чтобы не сказать, задом, а дороги вопреки всякой логике убрал к чёртовой матери — якобы для пущей эмоциональности, чтобы зритель видел: у витязя нет другого выхода, кроме указанного на камне: «Живу не бывати». Камень, глухая степь, череп человеческий и лошадиный, да ещё чёрный ворон в низком вечернем небе.

Как мизансцена — потрясающе.

Как жизненная перспектива — отвратительно.

«Вы только не стреляйте!»

Костя Филин в сотый раз глянул на ступеньки банка — так, искоса, краем глаза. Подступал вечер, в мутном, исхлѣстанном метелью сумраке ничего не разглядел бы и настоящий, лесной филин. Боясь проморгать сигнал, Костя развернулся к банку лицом, и колючий снег мигом втиснулся за воротник кожуха, морозными иглами ожѣг щѣку, набился в ухо и начал, сволочь, подтаивать. В ухе заворочался липкий и холодный слизняк. Костю передѣрнуло, он выругался сквозь зубы, выпростал наружу толстый вязаный шарф и упрятал в него всю нижнюю часть лица. Шарфа хватило и на многострадальное ухо. Ну вот, другое дело, жить можно.

Долго они там ещѣ?

Бокòв^[4] у Филина не было, но он поклялся бы, что торчит возле банка уже битый час — хотя на самом деле не прошло и тридцати минут. «Зря стою, — решил Костя. — Уже давно бы управились и водкой грелись. Ветошником^[5] больше, ветошником меньше — какая, к чёрту, разница?»

Дверь распахнулась. На ступеньки упал жѣлтый прямоугольник яркого *электрического* света, и в метель шагнул потешный фраерок в мохнатой лисьей шубе, круглых очочках и профессорской шапке «пирожком». Фраерок взмахнул рукой, подзывая извозчика, открыл было рот — и метель с изуверской радостью влепила туда добрую пригоршню снега. Костя сдавленно хмыкнул в кулак: а не разевай хлебало! Фраерок с возмущением отплевался, замахал обеими руками, что

твой ветряк. Минута, другая, и рядом остановился извозчик.

На Николаевской площади их хватало.

Едва сани уехали, дверь банка приоткрылась снова. Наружу высунулся Ёкарь. Завертел кудлатой цыганской головой, призывно вскинул могучую ручищу, словно тоже жить не мог без извозчика. Костя отлепился от стены. «Ну, — сказал он себе, — делу время, потехе час. Долго запрягали, быстро поедем».

Паберегис-с-сь!

х х х

С разных сторон к банку уже спешат остальные, ждавшие, как и Филин, отмашки Ёкаря. Один поскользывается, падает, но тут же вскакивает, отряхивает снег с тулупа, ковыляет ко входу. Утка, чистая тебе утка на льду! Хихикая, Костя выцепляет взглядом Гастона, которого втайне зовёт Гастритом. Про такую болезнь Филин слышал от студента-медика, лечившего сестру Дуняшу от маяты в желудке. На доктора с дипломом и в очочках, как давешний фраерок, у Кости не было *грòшей*, на Александровскую больницу, что на Тюремной площади (тьфу-тьфу-тьфу, не про нас будь сказано!) — тем более, даром что лазарет для малоимущих. А студент к Дуняше неровно дышал и душу бы сатане продал, лишь бы пощупать девку на законных основаниях. Ох, эти *грòши*! Вечно их нет, когда надо. Родители Филина сгорели при пожаре, когда у Кости ещё усы не росли, а Дуняша и вовсе под стол пешком ходила. Бабка загоревала да и померла следом. С тех пор сестра оставалась на попечении брата, готового зарезать всякого, кто на Дуняшу косо глянет. Девка видная, добрая, хозяйственная, жаль, здоровьем удалась в дохлого воробья: что ни съест, рёзьями мается, а то и блюёт. Из-за неё Костя и в жиганы

пошёл, чтобы червонцы рекой. Пойти пошёл, только на серьёзные дела его не брали, брезговали, дразнили маломерком и дурьей башкой. Один Гастон, добра ему полные руки, сжалился. Теперь заживём! И *грòши* будут, и студент Дуняшу за себя возьмёт, в церкви повенчаются, хату на Москалёвке поставят, нарожают Филину племянников, старшего Гастоном назовём...

Есть в святцах такое имя — Гастон? Наверняка есть, как не быть...

В присутствии Гастона у Кости без видимой причины сводит живот: Гастрит, натуральный Гастрит! Есть в нём что-то, от чего мурашки по хребту. За версту видно: гастролёр. Так Гастрит и не скрывает: из серьёзных, не чухня, ясен пень. Дело стòящее предложил, и ведёт себя путём, с уважением...

В овчинном кожухе, как и Филин, надвинув шапку-ушанку на брови, Гастон-Гастрит ждёт у дверей, пропускает всех внутрь. Нет, не всех: сам входит четвёртым. Филин вваливается следом, на ходу достаёт из кармана нагретый в ладони «Smith&Wesson». Револьвер взяли с убитого фараона — валил околоточного надзирателя не Костя, Костя только купил оружие с рук за тридцатку, и ещё патронов на шесть рублей сорок копеек. Револьвер тянет руку, в низу живота возникает предательское верчение — да что ж такое, в самом деле?!

Со злым щелчком Костя взводит курок, и живот отпускает.

— Работаем!

Сапоги гулко топают по ступеням, застеленным бордовой ковровой дорожкой. Оставляя за собой оплывающие кучки снега, налётчики взбегают на второй этаж. Навстречу суётся усатый хрен в заношенном, но ещё чистом мундире унтер-офицера. Его с ходу прикладывают рукояткой по кумполу, и сторож «уходит в тёмную», обмякнув в углу.

— Руки вверх! Это налёт!

Ёкарь не подвёл: в зале нет ветошников, только четверо банковских за стойкой. Подняли руки, шары вылупили — трясутся.

— Ты! — Гастон тычет стволом в ближнюю крысу. — Выгребай деньги.

Бросает на стойку мятый мешок:

— Всё выгребай, живо! Сюда кидай.

— Стоять-не-дёргаться! Кто пёрнет — завалю!

Это не Гастон. Это расхристанный чернявый шпендрик с мятым хайлом. Костя его не знает, и век бы не знал, ей-богу! Древний «Lefauscheux» с исцарапанным восьмигранным стволом ходит в руках шпендрика ходуном. Того и гляди, пальнёт почём зря. На кой чёрт Гастон взял на дело это ракло^[6]?!

Гастон морщится. Но на словах встаёт за шпендрика горой:

— Все слышали? Делайте, что вам говорят, и все останутся живы.

Взгляд и ствол упираются в каждого банковского по очереди. Кажется, что Гастон пересчитывает кассиров, замерших в испуге. Ствол останавливается на старшем:

— Открывай сейф.

Грузному дядьке лет под пятьдесят. Он не двигается с места.

— Жить хочешь?! Греби деньги лопатой.

У дядьки судорожно дёргается кадык. Он силится что-то сказать, но не может. Речь возвращается лишь со второй попытки:

— ...ключи!

— Что — ключи?

— Они в кабинете управляющего.

— Ну так принеси. Он, — Гастрит кивает Косте, — тебя проводит.

Костя кивает в ответ. Держит кассира под прицелом, следует за ним в коридор, начинающийся сбоку от стойки.

— Ты — на шухере у окна. Гляди в оба! — слышит он за спиной распоряжения Гастона. — Ты подгребай сюда бабки. Ты стань у входа, вы двое держите их на мушке...

«Грамотно», — думает Костя, пока дядька отпирает дверь в кабинет управляющего. Щёлкает выключателем, над потолком вспыхивает люстра. В ярком свете, словно мальчишки на летнем берегу реки, нежатся обитые бархатом кресла-пузаны. Шкаф во всю стену, широченный стол с бумагами и банковскими книгами; с краю приткнулась чёрная штукавина, от неё в угол течёт аспидный хвост-провод. Небось, тоже что-то электрическое, лучше не трогать!

— Ключ где?

— Станислав Евграфович в столе держат-с.

— Бери и пошли!

Кассир бочком протискивается мимо стола, дёргает ящик.

— Заперто!

— А ну, отзынь.

Держа кассира на мушке, Костя обходит стол.

— Который ящик?

— Верхний.

И правда заперто, не соврал банковский. Куда ему баки вкручивать: вон, в угол забился, рожа белей извёстки. Того и гляди, в ящик с перепугу сыграет.

— Спокойно, дядя. Стой, не мельтеши. Дыши ровно, я разберусь.

Зря, что ли, Филин фомку в кармане носит? Пригодилась, родимая. Стол на вид солидный, а замòк на ящике хилый: крак! — и готово.

— Этот ключ?

— Он самый, не извольте сомне...

— Сейф где?

— Там.

— Где «там»?

— Вы только не стреляйте! В зале сейф.

— Зал где?!

— В кассовом зале! Там, где ваши. Сзади, за перегородкой.

— Веди.

«Грòши, — думает Костя, топая обратно. — Теперь заживём! Студент Дуняшу за себя возьмёт, хату на Москалёвке поставят...» Он прямо видит её, Дуняшину хату. Белёные стены расписаны васильками, в красном углу — иконы и вышитые рушники. Да, и люстра. Электрическая! Люстра обязательно — в горнице, над столом.

«Присягу, должно быть, принимают».

Губернский город Х встретил Алексеева метелью.

— Носильщик!

— Здесь, ваше благородие!

— Извольте взять мой саквояж.

— С нашим удовольствием!

Фуражка с кокардой. Смазные сапоги. Брезентовый фартук поверх тулупа. Гулкий нутряной бас. Ухмылка, блеск зубов. Борода раздвоена, как хвост ласточки. Машинально фиксируя в памяти детали колоритного облика, Алексеев глядел, как носильщик подхватывает саквояж — ничтожная ноша для такого медведя! — и вразвалочку топает по перрону, озираясь через плечо: следует ли за ним пассажир?

— Не отставайте, ваше благородие!

— Что это у вас? Никак, ремонт?

— Ага, строимся. Аккурат в прошлом годе начали-с. По проекту господина Загоскина, Илиодора Илиодоровича, дай ему бог всяческого здоровья...

— Так ты, я вижу, братец, человек образованный? В курсе событий?

— Шутите, ваше благородие? Наши науки — ноги да руки! А Илиодора Илиодоровича я знаю, не без того. У ихнего брата Сергея Илиодоровича особняк на Мироносицкой, моя благоверная там в прислуге. Когда к ней захоживаю, мне чарочку подносят. И калач дают на заедки. Было дело, летом трухлявый клён падать вздумал, так я держал, пока детей из сада не повыгоняли. Спину по сей день ломит, ну да ничего, оклемался. Сергей Илиодорович меня назвал Ерусланом

Лазаревичем и велел заходить, не чинясь. Вы не знаете, ваше благородие, кто он таков, этот Еруслан?

— Богатырь он, братец. Славный и могучий.

— Богатырь? А я, дурак, боялся, что жид.

— Отчего жид, если Еруслан?

— Так ведь Лазаревич! К Сергею Илиодоровичу товарищ приходил, тоже из строителей — Мелетинский Моисей Лазаревич. Он жид, я точно знаю...

«Витязь, — подумал Алексеев. — Ох, не везёт тебе, витязь. Как прямо ехать — обрезану быти».

В вокзале царила неразбериха. Сновали рабочие, таскали доски, носилки с кирпичом, ведра раствора, изразцы для облицовки стен. Пассажиры, прибывшие на поезде, и местные, кто явился встречать друзей и родственников, путались в лабиринте строительных лесов, уворачивались от мальчишек-посыльных, бранились, когда сверху на них сыпалось, шлёпалось, падало. Если дело и не заканчивалось смертоубийством, так только чудом. Где-то играл оркестр, но Алексеев не видел, где. Вальс «Le sang Viennois» кружился в метели роем июльских бабочек, вдохновенный Штраус вливал венскую кровь^[7] в жилы провинциального вокзала, и контраст с грязью и суетой был таков, что хоть сейчас на сцену. Носильщики, скрипки, рабочие, виолончели, раствор, валторны, посыльные, альты; всклокоченный начальник станции размахивает руками, бежит вприпрыжку, на три четверти, и лицо его, как и вальс, зазорное, сентиментальное, всё сразу...

— Берегись, ваше благородие!

— Что ещё?

— Тут ступеньки. Облеченели, мать их...

Спотыкаясь, оглохнув от шума, втянув головы в плечи, они выбрались на Архиерейскую леваду, так и не привыкшую к гордому имени Привокзальной площади. Отец Алексеева помнил леваду сущим болотом, через

которое весной и осенью бросали дощатые мостки — иначе не переберёшься, завязнешь в трясине. Здесь пасли скот, а на огородах выращивали овощи для святых отцов, стоящих во главе местной епархии. Сам Алексеев левады не застал, город выкупил её у церкви, когда Алексееву исполнилось шесть лет, но позже отец привез пятнадцатилетнего гимназиста Костю в город X — сперва не сюда, а в Григоровку, на вокзал уже потом — и площадь в том дождливом апреле вполне сгодилась бы и для выпаса овец, и для рядов бокастой капусты.

Оглянувшись, Алексеев едва не упал и помянул Господа всуе. Скромное двухэтажное здание, каким он помнил вокзал, из замухрышки превратилось в натурального Еруслана Лазаревича — раздалось вширь, выросло вверх, раскинуло ярко-желтые, как летний одуванчик, крылья. Центральную часть богатыря венчал красный шлем — купол, более уместный на церкви, нежели на вокзале. Ветер крепчал, снег буйным смерчем вился над куполом, и казалось, что вьюга-насмешница воздвигает над храмом прогресса сияющий крест.

— Куда багаж нести, ваше благородие? На конку?

— На биржу^[8]. Где сейчас извозчики стоят?

— Ванькѐ^[9]-то? А там же, где и прошлый год. Идѐмте, тут рядышком.

Он оглянулся во второй раз. Конечно, не надо было этого делать. Во всякой порядочной сказке оглянулся — пропал. «Что я вижу, — подумал Алексеев. — Что?» Вечер. Вокзал. Желтые, местами недокрашенные стены. Купол цвета кирпича. Вьюжный крест. Суета на ступеньках у входа. Вызывающе пустая площадь. По краям, в кулисах, сгущается первая, ещё робкая тьма. На переднем плане, у рампы — носильщик с приежжим. Надсадно гудит паровоз, уходя в депо. Из левого крыла